Александр БАЛТИН

РУССКИЙ ПАНТЕОН

Штрихи к литературному портрету России[1]

... + Фет + Хлебников + Черный + ...

РИФМУЮЩИЙСЯ С ПОНЯТИЕМ «СВЕТ»: ФЕТ

Суть существительного — твёрдость, вещность, значимость. Существительные — становой хребет речи, и построить стихотворение, используя только их, это ли — не выгранить алмаз с великолепным благородством? Разумеется — только из них не получится, если иметь не игру, а наполнение стиха плотным смыслом, данным через лёгкую мелодику, но построить именно на нём, на существительном, стихотворение — так привлекательно... И вот — выдохнулось, округлилось, заиграло перламутрами, пошло в века:

Шепот, робкое дыханье.
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья.

Фет услышал новые мелодии: отличные от пушкинских, лермонтовских, вместе — такие непохожие на музыку Некрасова; только Тютчев был ему союзен: по дыханию, метафизике, музыке, хотя и пели они по-разному: к большей глобальности тяготел Тютчев, к новой музыке Фет...

Уж верба вся пушистая
Раскинулась кругом;
Опять весна душистая
Повеяла крылом.
Станицей тучки носятся,
Тепло озарены,
И в душу снова просятся
Пленительные сны.

Из нежности, из вербного счастья вырезаются строки, играют тончайшими полутонами, оттенками; и жемчужные отливы вспыхивают драгоценно.

Каждого поэта сопровождает свой превалирующий цвет или цвета: если у Тютчева это зелёный, фиолетовый, лиловый, то Фет — весь именно на жемчуге и перламутре, с их отливами, разводами, с тенями утреннего неба...

Но вот возникающая тема смерти дана скорее мощно, чем изящно:

Слепцы напрасно ищут, где дорога,
Доверясь чувств слепым поводырям;
Но если жизнь — базар крикливый бога,
То только смерть — его бессмертный храм.

Тут, кажется, изящество, столь характерное для Фета, отступает на второй план — больно важна философия, и именно она, через образы художественности, позволяет поэту найти только своё, неповторимое определение смерти, даже переступая через стилистическую неправильность, инверсию.

Фет чувственный поэт: любовь раскрывается с замиранием дыханья, с тайным трепетом в его стихах:

В моей руке такое чудо — твоя рука.
А на земле два изумруда, два светляка.

---

[1] «Русский пантеон» см. также в №№3-7 «Невского проспекта».

Картина психологического восприятия чувства более чем впечатляющая, и завораживает она, сколько бы времени ни прошло, как бы ни менялись люди... Шумят весенние дожди Фета, звучат его романсы, полыхают свечи бала...

Музыка и мысль — два определяющих начала — были подняты поэтом на новую высоту в русской словесности, и её уровень обозначает меру посмертного признания Афанасия Фета.

* * *

Сердце прошепчет Аве Мария; сердце пульсирует стихом, и созвучия его будут волнующе-необыкновенны:

Ave Maria — лампада тиха,
В сердце готовы четыре стиха:
Чистая дева, скорбящего мать,
Душу проникла твоя благодать.
Неба царица, не в блеске лучей,
В тихом предстань сновидении ей!
Ave Maria — лампада тиха,
Я прошептал все четыре стиха.

Не самое известное стихотворение Фета: и вместе — характернейшее: и избытком тайны, и музыкой, вектором ведущей в запредельность, и мускульной краткостью...

Обойтись, сочиняя, одними существительными: не просто щегольство мастерства, но возможность нового построения стиха: «Шепот. Робкое дыханье...» — ведь существительное происходит от понятия «суть», а стих и должен работать с самой сутью. Сутью жизни.

Фет много знал о жизни: и отчаяние, и философия, и крепкое помещичье хозяйство. Разные доли, и каждая густо окрашена, сильна.

Фет вводил много психологии в стихи, предчувствуя грядущие временные изломы. А сравнения, вспыхивающие озарениями, отличались такой необычностью, будто проникали в область стиха, предварительно коснувшись бездн метафизики:

Тускнеют угли. В полумраке
Прозрачный вьется огонек.
Так плещет на багряном маке
Крылом лазурным мотылек.

Красота сама по себе улучшает пространство, хоть и не людей, но всё же... Красота, сгущённая в стихах Фета, не имеет временных категорий, облучая и сегодня реальность — какой бы она ни была.

* * *

Наша воля условна — обстоятельства сильнее. Мир, известная нам юдоль, есть в большей степени наше представление о нём, чем следствие нашей воли. Можно ли предположить, что Фет переводил от скуки? Он перевёл Фауста, и вечный доктор, входящий в контакт с весёлой, коварной потусторонней силой, представлен под иным углом, нежели потом — у Пастернака. Он переводил язвительного, метафизического и такого лиричного Гейне, и буйного, живущего в совершенно непредставимом мире Анакреонта: пела сама Древняя Греция как будто; пела, играя пирами и отсвечивая желтоватым мрамором. Он снова переводил Гейне, чередуя его с Гёте, олимпийство которого словно уравновешивалось его же избыточным темпераментом. Он переводил мало известного в России Даумера, делая его русским, домашним... И возникал, вырисовывался горою мысли Шопенгауэр: скептик, очевидно не слишком любивший жизнь, отдавший дань представлению: нашему о мире, в большей степени, нежели воле, которая и вообще-то условна. Он переводил Шиллера, Мицкевича и Рюккерта: они играли жемчужным звуком и многообразием словесных оттенков: они пели по-русски, и мировой дух благосклонно внимал этим песням...

* * *

Про победу или отсутствие таковой не ответит даже Alterego: сколько ни восстанавливай первые образы оного:

Как лилея глядится в нагорный ручей,
Ты стояла над первою песней моей,
И была ли при этом победа, и чья, —
У ручья ль от цветка, у цветка ль от ручья?

И финал стихотворения, уводящего тропою в запредельность, поражает ощущением провидения:

У любви есть слова, те слова не умрут.
Нас с тобой ожидает особенный суд;
Он сумеет нас сразу в толпе различить,
И мы вместе придем, нас нельзя разлучить!

Серебряная музыка Фета остаётся лёгкой, каких бы тематически тяжёлых вестей или явлений она ни касалась: стих должен быть таковым, только такие свойства обеспечат ему возможности полёта.

Бабочка тут подойдёт больше: хотя некоторая зигзагообразность её полёта и обеспечена природой: словно у стиха больше возможностей — может сгладить любую шероховатость:

Ты прав. Одним воздушным очертаньем
Я так мила.
Весь бархат мой с его живым миганьем —
Лишь два крыла.
Не спрашивай: откуда появилась?
Куда спешу?
Здесь на цветок я легкий опустилась
И вот — дышу.

Дыханье, мерцанье — или миганье: каталог моментов... В сущности, и жизнь не более, чем этот момент...

Разворачиваются панорамы стихов Фета, вобравших действительность богато: со всем её бархатом закатом и муаром сумерек, с тонкими отливами душевных переживаний, с ощущением чуда... Любого — ибо их много:

В моей руке — какое чудо! — твоя рука...

И светляки, превратившиеся далее в изумруды, подтверждают природу чудесного в мире...

Заглядывание в бездны чревато, но ежели проводить их через нежную музыку: ничего, сердце выдержит, душа обогатится...

Душа обогащается, внимая песням Фета. Недаром и фамилия его рифмуется со словом «свет»! — таким, будто поймано нечто нежно разлитое в воздухе: во все века; поймано так, что сомнений не остаётся в чуде жизни.

* * *

Фет в исполнении Нагибина — в недрах рассказа, посвящённого поэту, — предстаёт помещиком таким же незаурядным, как и сочинителем. Рачительно созидается хозяйство его, и даже установка бильярда становится серьёзным, требующим сосредоточенного внимания мероприятием.

Вероятно, Фет таковым и был: серьёзным во всём, крепким, по-хорошему уверенным в себе, и если и била его жизнь или теснила невниманием — то... что уж тут поделать: слепота рока известна, и требуется определённое фаустианство, чтобы противостоять ему.

Фауст заходил к Фету запросто: поговорить, послушать стихи, и мрачный Шопенгауэр глядел на них сумрачно из угла...

ДЕРВИШ РУССКОЙ ПОЭЗИИ: ХЛЕБНИКОВ

1

...Путь дервиша русской поэзии и — математика же её, способного рассчитать время, окрашенное революцией — путь В. Хлебникова: таинственного, глобального, усложнённого в витье слов; иногда становящегося предельно простым и точным:

Мне мало надо!
Краюшку хлеба
И каплю молока.
Да это небо,
Да эти облака!

В малом, которое надо, отразится громада и глобальность всего необходимого: растворение в небе, возможно — мистического толка; путешествие с облаками...

Иногда мнится — он и шёл по облакам: пропадающий и появляющийся, никак не связанный с бытом, столь необходимым большинству, отпетый в конце концов степью...

Волшебный кузнечик настроит свой жильный, природный, мускульный инструмент, чтобы ответить тарарахнувшему зинзиверу, и возникнет, лучась тончайшим плетением жил, стихотворение, ставшее классическим, тугое и ёмкое:

Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
«Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!

...Хлебников шаманил, как будто обращаясь к древним верованиям, волхвовал он, лешего видя, способный собеседовать с массою существ, закрытых от общенормального зрения.

Вдруг, закипая страстью, сулящей кровь, завертится история Марии Вечоры: история любви, которая, слегка воплотившись, полностью не может стать шаровою реальностью, отсюда — и выстрелы, грянувшие в охотничьем домике. Домике уюта. Богатства.

Необычна речь, живописующая не слишком обыденную реальность:

Выступы замок простер
В синюю неба пустыню.
Холодный востока костер
Утра встречает богиню.
И тогда-то
Звон раздался от подков.
Бел, как хата,
Месяц ясных облаков
Лаву видит седоков.

Необычна, сбивчива, выпукло-выразительна.

Образы мелькают заострённым кинематографом немецкого экспрессионизма:

Со скрипом как будто куда-то летя,
Грустящее молит и плачет дитя.
Но зачем в их руках заблистали клинки?
Шашек лезвия блещут из каждой руки.
Как будто заснувший, лежит общий друг,
И на пол стекают из крови озера.
А в углу близ стены — вся упрек и испуг —
Мария Вечора.

Сумасшедшие тени скачут, разыгрывается, неистов, кукольный театр непривычного русскому слуху стиха... Словно — классическая традиция сорвана с петель: ничего, Хлебников сотворит свою, используя самые разные образы и темы.

На смехе вырастить крутобокие раскаты эпохального эксперимента:

О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами,
Что смеянствуют смеяльно.
О, засмейтесь усмеяльно!

Корнесловие Хлебникова потом вспыхнет упоительной «Зеленью» Ю.Тувима, перетолкованной по-русски монументальным Л.Мартыновым. Хлебников — алхимик словесной лаборатории, созданной им же, и сумма правил созидается им по-своему. Будто не было до него ничего: ни из кого не вывести его необычайное поэтическое растение.

...Он видел «Гибель Атлантиды», с корнем выдранные из реальности острова, разыграв мистическую трагедию в поэтической пьесе:

«Мы боги», — мрачно жрец сказал
И на далекие чертоги
Рукою сонно указал.
«Холодным скрежетом пилы
Распались трупы на суставы,
И мною взнузданы орлы
Взять в клювы звездные уставы.
Давно зверь, сильный над косулей,
Стал без власти божеством.
Давно не бьем о землю лбом,
Увидя рощу или улей».

Неровная шероховатость его стиха живёт и движется своею гармонией.

...Его речь — словно кора древесная заговорила, а то вообще — периоды развития человеческой цивилизации; его речь — мир и миф:

Старик с извилистою палкой
И очарованная тишь.
И, где хохочущей русалкой
Над мертвым мамонтом сидишь,
Шумит кора старинной ивы,
Лепечет сказки по-людски,
А девы каменные нивы —
Как сказки каменной доски.

Он мог давать краткостью своей величественные формулы духа:

Когда умирают кони — дышат,
Когда умирают травы — сохнут,
Когда умирают солнца — они гаснут,
Когда умирают люди — поют песни.

Прорывался в неизвестность, запредельность, будто жизнью своей врастая в мистическое начало, столь сложно истолковать которое. Даже используя речь.

То, что истолковал Хлебников, что открыл он, прорывая ходы будущей поэзии, связано с невероятностью реализованного шанса, предоставленного только ему.

2

Красно-чёрный горит сквозными, страшными закруглениями «Пир королей»; и вспыхивают вдруг атлантические, гибелью прошитые строчки Хлебникова:

«Мы боги», — мрачно жрец сказал
И на далекие чертоги
Рукою сонно указал...

Их огни родственны — в том числе тем, что источник оных непостижим...

Филонов как будто расслаивал реальность на кванты цветовой энергии.

Хлебников добывал те же единицы мысли, созидая свои обескураживающие, ни на кого, ни на что в мире — и всё же из мира — непохожие тексты:

Я видел, что черные Веды,
Коран и Евангелие,
И в шелковых досках
Книги монголов
Из праха степей,
Из кизяка благовонного,
Как это делают
Калмычки зарей,
Сложили костер
И сами легли на него —
Белые вдовы в облако дыма скрывались,
Чтобы ускорить приход
Книги единой...

А у Филонова, как точно, «Германская война» — предвестье невероятной книги пророчеств. Не появилась? Просто была предначертана художником, забирающимся в недра мира...

«Цветы мирового расцвета» — слоистые цветопады... миротворения? Или роскошь райского сада показана невероятной мечтой самодумной России, которой больше нет? От самодумности её — и легендотворение Хлебникова:

Шамана встреча и Венеры
Была так кратка и ясна:
Она вошла во вход пещеры,
Порывам радости весна.
В ее глазах светла отвага
И страсти гордый, гневный зной:
Она пред ним стояла нага,
Блестя роскошной пеленой.

Внутри России, в лабиринтах сердца её можно и такие образы узреть. Узаконить словом. Как Филонов узаконивает знаком живописи, метафизикой своего цветового высказывания. «Лики» его — будто проступающие всюду, растущие один из другого, тонкие, насыщенные тайной. Тайной пропитано всё. Её, творчества, не разгадать.

Но интересно идти тропами разгадок.

СВЕТ БЕЛЫЙ САШИ ЧЁРНОГО

1

Вот уж дебютировал, так дебютировал!

После публикации стихотворения Саши Чёрного «Чепуха», лёгкого, живым шампанским иронии пенящегося, журнал «Зритель» закрыли:

Трепов — мягче сатаны,
Дурново — с талантом,
Нам свободы не нужны,
А рейтузы с кантом.

Сослан Нейдгарт в рудники,
С ним Курлов туда же,
И за старые грехи —
Алексеев даже...

...Есть литературная дата рождения Саши Чёрного: 27 ноября 1905 года... Есть дата фейерверкного возникновения лучшего сатирического и иронического поэта, в сущности — сатирического метафизика русского поэтического слова. Лучшего? Но степень оного не измерить, нет шкалы, и, тем не менее, Александр Гликберг, превратившийся в Сашу Чёрного, представляется именно таковым.

...Разветвлённо и глубоко проникая в обыденную философию человека, он делал рифмованные выводы, поражавшие точностью и отсвечивающие вечной сутью людской породы:

Моя жена — наседка,
Мой сын, увы, эсер,
Моя сестра — кадетка,
Мой дворник — старовер.
Кухарка — монархистка,
Аристократ — свояк,
Мамаша — анархистка,
А я — я просто так...
Дочурка-гимназистка
(Всего ей десять лет)
И та социалистка, —
Таков уж нынче свет!

Этот... почти гамлетианский монолог обывателя завершается выкриком в пространство:

Молю тебя, Создатель
(Совсем я не шучу),
Я русский обыватель —
Я просто жить хочу!

...Ведь бушевала где-то, когда-то битва при Лепанто, ведь Сервантесу там оторвало руку, ещё не знавшему, что он — Сервантес, — а у нас? У нас так:

Где событья нашей жизни,
Кроме насморка и блох?
Мы давно живем, как слизни,
В нищете случайных крох.
Спим и хнычем. В виде спорта,
Не волнуясь, не любя,
Ищем бога, ищем черта,
Потеряв самих себя.

Противопоставляются — натянутыми нервами проводов бытия — величие книг и ничтожность бытования на земле, в сером цвете обыденности, в крохах крох... Поэт касается всех сторон жизни: в том числе иронизирует — и ирония едка, как щёлочь, над литературной жизнью: превознесением мелкого, малозначительного, вялой вознёй в сиюминутности:

Разобрали детально Кубышкина,
Том шестой и восьмой Кочерыжкина,
Альманах «Обгорелый фитиль»,
Поворот к реализму Поплавкина
И значенье статьи Бородавкина
«О влияньи желудка на стиль»...

Блеск исполнения подчёркивает шуршащую страницами мелочь, непроизвольно вызывая ассоциации, вычерчивая параллели: Кубышкин — Водолазкин, Кочерыжкин — Быков, Поплавкин — Акунин... Можно и Бородавкина сыскать... Вечный круговорот...

Уют милейшей сценки, прорисованной детально, показывает — сквозь тюль обыденности бытия — всю ничтожность жизни, начисленной человеку как срок, от которого освобождает только смерть:

Ревет сынок. Побит за двойку с плюсом,
Жена на локоны взяла последний рубль,
Супруг, убитый лавочкой и флюсом,
Подсчитывает месячную убыль.
Кряхтят на счетах жалкие копейки:
Покупка зонтика и дров пробила брешь,
А розовый капот из бумазейки
Бросает в пот склонившуюся плешь.

Густа ли ирония? О, здесь субстанция сострадания проступает: властно и сильно, остаётся впитывать её, постигая...

Тип учёного дурака выписан виртуозно:

Ослу образованье дали.
Он стал умней? Едва ли.
Но раньше, как осел,
Он просто чушь порол,
А нынче — ах злодей —
Он, с важностью педанта,
При каждой глупости своей
Ссылается на Канта.

И — сколь понятно, что многознание не есть ум, столь очевидно, насколько — на все времена — прав Саша Чёрный.

Космические панорамы кармического бытия выстраивал Саша Чёрный, великолепно играя стихом — играя совершенно всерьёз, почти смертельно разя в самое сердце, подспудно призывая меняться, не быть ни читателем, обсуждающим пустоту, ни ослом, начитавшимся Канта, ни обывателем — прорастать в метафизические небеса из мелочной заданности.

Он целил смехом, как острым и горьким бальзамом; и вместе — была необыкновенная сладость в его совершенных, таких лёгких, столь ясных созвучиях; и чудесные фейерверки его стихов продолжают работать — и будут работать в любой жизни, ибо пошлость и глупость, карьеризм и обыденность, будучи... чуть ли не страшнее грехов, сколь ни вытаскивай их на жгучий свет подлинного солнца, остаются живы — пока живо человечество...

2

Идея заменить действительность библиотекой, невзирая на её утопичность, не столь уж плоха, учитывая контраст — зияющий чернотой — между книгами и реальностью: исследовав которую Саша Чёрный выводил гранёные, сразу запоминающиеся формулы:

В книгах жизнь широким пиром
Тешит всех своих гостей,
Окружая их гарниром
Из страданья и страстей:

Смех, борьба и перемены,
С мясом вырван каждый клок!
А у нас... углы да стены
И над ними потолок.

О, шаровая, провидческая точность поэта:

В книгах гений Соловьевых,
Гейне, Гёте и Золя,
А вокруг от Ивановых
Содрогается земля.

И действительно: где-то бушевала Грюнвальдская битва или Айвенго натягивал тетиву арбалета, а тут... приходится довольствоваться:

Где событья нашей жизни,
Кроме насморка и блох?..

Назидание в острокипящих сатирах Саши Чёрного даётся подспудно: прорастайте

сквозь это, одолевайте заданность, боритесь за небо своей души... за космос собственного интеллекта.

Он дебютировал громогласно — Александр Гликберг, одномоментно превратившийся в Сашу Чёрного: стихотворением «Чепуха» в журнале «Зритель»: настолько громогласно, что журнал тотчас был закрыт — слишком едкой кислотой сатиры насытил стихотворение поэт: разъедала косные мозги и ороговевшие души блюстителей замшелой патриархальности...

Он продолжал — бурно и весело, ядрёно и крупно, учитывая и вбирая в свою поэзию все стороны жизни: бытовую, интеллектуальную, политическую.

Жёсткая графика «Обстановочки» не допускает вертикального движения души, однако и сострадание вызывает:

Ревет сынок. Побит за двойку с плюсом,
Жена на локоны взяла последний рубль...

...Где-то на заднем плане мелькает тень Достоевского: ибо стихотворение, работая на бытовых механизмах, призывает к состраданию, а его субстанция необходима каждой душе — в равной мере: всякий оного достоин. Не всякий может перерасти подобную обстановочку, а если перерастёт, рискует оказаться в роли осла, получившего возможность читать Канта, но дальше начётничества, не способного двигаться:

Ослу образованье дали.
Он стал умней? Едва ли...
Он, с важностью педанта...
Ссылается на Канта.

...Сатира наносится мазью на огненные расчёсы общества, плодящего дураков, не знающего варианта золотой организации.

Вектор верных умозаключений остёр: большинство строк поэта играют... образами вечности, ибо, как ни меняется исторический антураж, пороки остаются пороками; и сколько ни хватай за скользкие шкирки грешки, выворачиваются, ускользая, чтобы снова и снова мельтешить среди людей, покоряя их своим анти-обаянием.

...Вместе — у него была чисто детская душа: у замечательного Саши Чёрного: настолько чистая, что детские стихи выдыхались естественно и, полные розоватых фантазий и разноцветных смысловых оттенков, покоряли в не меньшей мере, чем взрослые:

— Хавронья Петровна, как ваше здоровье?
— Одышка и малокровье...
— В самом деле?
А вы бы побольше ели!..
— Хрю-хрю! Нет аппетита...
Еле доела шестое корыто:
Ведро помоев,
Решето с шелухою,
Пуд варёной картошки,
Миску окрошки,
Полсотни гнилых огурцов,
Остатки рубцов,
Горшок вчерашней каши
И жбан простокваши.
— Бедняжка!
Как вам, должно быть, тяжко!!!
Обратитесь к доктору Ван-дер-Флиту,
Чтоб прописал вам капли для аппетиту!

...Тут и намёк на осуждение чревоугодия проскользнёт, и нечто крыловское вспомнится, хотя всё — от Саши, избравшего чёрный цвет, поскольку белизны так мало в мире, именуемом белым...

...Серебро века тонкими волокнами проскальзывало в рисуемых картинах:

Адвокат ведет с коллегой
Специальный разговор.
Разорвись — а не поймешь!
А хозяйка с томной негой,
Устремив на лампу взор,
Поправляет бюст и брошь.

Зримость словесной живописи высока: в строфу можно войти, как в волшебную дверь...

И волшебным был бесконечный космос поэта: словно углубляющийся от идущих и идущих времён: ибо каждое позволяет взглянуть на творения Саши Чёрного сквозь призмы изменившихся согласно исторической данности... страстей и пороков...